



Поэт в России – больше, чем поэт

Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»

Изгой из геев

Михаил КУЗМИН

1872, Ярославль – 1936, Ленинград

Мне не горьки нужда и плен,
И разрушение, и голод,
Но в душу проникает холод,
Сладкой струйкой вьется тлен.
Что значат «хлеб», «вода», «дрова» –
Мы поняли и будто знаем,

Но с каждым часом забываем
Другие, лучшие слова.
Лежим, как жалостный помет,
На вытоптанном, голом поле
И будем так лежать, доколе
Господь души в нас не вдохнет.

Май 1921

Второй удар

Из книги «Форель разбивает лед»

Кони бьются, храпят в испуге,
Синей лентой обвиты дуги,
Волки, снег, бубенцы, пальба!
Что до страшной, как ночь, расплаты?
Разве дрогнут твои Карпаты?
В старом роге застынет мед?

Полость треплется, диво-птица;
Визг ползьев – «гайда, Марица!».
Стоп... бежит с фонарем гайдук...
Вот какое твоё домовье:
Свет мадонны у изголовья
И подкова хранит порог.

Галереи, сугроб на крыше,
За шпалерой скребутся мыши,
Чепраки, кружева, коверы!
Тяжело от парадных спален!
А в камин целый лес навален,
Словно ладан, шитит смола...

Отчего ж твои губы желты?
Сам не знаешь, на что пошел ты?
Тут о шутках, дружок, забудь!
Не богемских лесов вампиром –
Смертным братом пред целым миром
Ты назвался, так будь же брат!

А законы у нас в остроге,
Ах, привольны они и строги:
Кровь за кровь, за любовь любовь.
Мы берем и даем по чести,
Нам не надо кровавой мести:
От зарка развяжет Бог,

Сам себя осуждает Каин...
Поблудил молодой хозяин,
Резанул по ладони восток...
Тихо капает кровь в стаканы:
Знак обмена и знак охраны...
На конюшню ведут коней...

1927



Анна Андреевна не так уж не любила Кузмина, если вставляла в конец одного из своих поздних стихов прямую цитату из его «Александровских песен»: «Если б все, кто помощи душевной у меня просил на этом свете, – Все юродивые и калеки, Каторжники и самоубийцы, – Мне прислали по одной копейке, Стала б я «богаче всех в Египте», Как говаривал Кузмин покойный...»

Пробыв менее двух месяцев в Египте, Кузмин как будто вобрал и сберег в каком-то тайном уголке своих легких аромат умищений и благоволий целой эпохи. Не случайно Максимилиан Волошин пошутил, что не решается спросить у Кузмина, сколько ему лет на самом деле, боясь получить в ответ: «Две тысячи».

Может быть, не очень глубоко, но зато столь грациозно он усваивал культуры других народов, чувствовал себя, как рыба в родной ей воде, внутри предантичной, античной или не столь далекой истории. Копаясь в его происхождении, Кузмина записывали то в ассирийцы, то в евреи, то даже в цыгане. Действительно, в чертах его лица, с огромными глазами, со смуглинкой, было нечто нездешнее. Но родился он не где-нибудь, а в Ярославле, впоследствии им нежно воспетом, в семье отставного русского морского офицера и поклонялся отнюдь не богу Ра и не Будде, а был самым что ни на есть правозерным старообрядцем, но отнюдь не изводил себя постом. Он никак не вписывался ни в символизм, ни в акмеизм, хотя его усиленно пытались приписать хоть куда-нибудь. Коллективизм, даже борющийся за расцвет индивидуализма, был ему чужд.

Кузмин стал воплощением российского декаданта между Цусимой, распутищиной и Октябрьской революцией, в начале которой возмел глупость однажды гордо называть себя большевиком, хотя больше этого уже никогда не повторял. Судьбы некоторых других интеллигентов от декаданта до революционера были причудливей, но последовательней.

Сотоварищи Кузмина по первой публикации в одном и том же дилетантском сборнике – Г.В. Чичерин (будущий нарком иностранных дел) и В.Р. Менжинский (будущий председатель ОГПУ) – оказались практичнее, а он остался лицом к лицу со сложностями своей интимной жизни, не позволявшими ему адаптироваться к новой социальной реальности.

Кузмин был первый декадент, крестившийся двуперстием, и первый русский поэт, не стеснявшийся публичности нетрадиционной любви. Он был влюбчив, но отнюдь не развратен, хотя сама нетрадиционность уже называлась развратом. Адамович запомнил, что «М.

Кузмин уверял когда-то (в разговоре), что нельзя употреблять слова «разврат», а надо писать «распутство». До Кузмина среди служителей российской музы были только политические диссиденты – Кузмин стал первым диссидентом сексуальным. В России и до революции это не поощрялось, а с 1934 года, как и в Германии, стало уголовно наказуемым.

В 30-х годах Кузмин позволил себе рискованно состричь: «Пускай нами управляет хоть лошадь, мне безразлично». На самом деле ему это не было безразлично – иначе бы в его стихах не возник призрак Аракчеева, поскрипывающего зеркальными сапогами на фоне строителей социализма – кто в разваливающихся опорах, а кто и босиком – в обнимку пляшущих на бетоне первой пятiletки.

Кузмин не мечтал ни стать дипломатом, как друг его юности Чичерин, – ему бы даже Тринидада и Тобаго не доверили, – ни, на худой конец, осведомителем ОГПУ (что ему уже предлагали, и он даже наивно пожаловался на это в письме к Менжинскому), но и других вариантов продолжения жизни для него не было.

Первый дореволюционный русский маньерист, автор стихотворения «Где слог найду, чтоб описать прогулку, Шабли во льду, поджаренную булку...», в середине 30-х был непредставим по сю сторону колючей проволоки и умер своей смертью тоже чудом. Но и не менее непредставимым было то, что через семь десятков лет очаровательно-легковесная песенка «Как упоительны в России вечера...», написанная другим, новоиспеченным маньеристом постсоциализма, пошловато воскресив хруст «поджаренной булки» из пекарни Кузмина, подтвердит тезис о неизбежном превращении драмы в фарс.

Когда он умирал, его определили в больницу, построенную в память жертв революции. Он не сражался ни за революцию, ни против нее. Он просто любил шабли. Но он стал одной из жертв революции и по закону парадоксальности всей его жизни счастливо скончался без постороннего вмешательства в больнице памяти самого себя.

Поэзия женственная Кузмина
была бессердечностью казнена.

И, утомившиеся от сверканья,
кто-то закрыл во гробу, как в ларце,
глаза, словно два драгоценные камня,
на некрасивом красивом лице.

Евгений ЕВТУШЕНКО

Допуская, что любая классификация весьма приблизительна, риску под разделить искусство на временное, вневременное и всевременное. Избежать влияния временности не может никто, и высокомерные, а то и просто-напросто трусливые прятки внутри вневременности этому не помогают. Шекспир всевременен, потому что понял обреченность человеческого существа на бесконечные преступления и самое беспощадное из них – убийство. Но он же утверждал, что зло неизбежно наказуемо не только на небе, но и прижизненно, на земле, муками совести даже тех, в чьей душе, казалось бы, и совести-то днем с огнем не найдешь.

Есть писатели, которых незаслуженно возводят в довольно высокопарный ранг «носителей совести» за их наболевшее, показное «немогучество». Но есть писатели, имеющие по части совести весьма сомнительные репутации, поскольку иногда с не очень приятной откровенностью говорят о себе то, что в некоторых слоях общества считается пороками, а между тем именно такая искренность и самонелицеприятность (разумеется, при условии таланта) делает их всевременными.

Репутация Михаила Кузмина – и личностная, и литературная – среди современников была крайне противоречивой. Вячеслав Иванов еще в 1906 году назвал его «живым анахронизмом». Н.Я. Мандельштам заметила с обидой: «...процветал Кузмин, всех нас презиравший и даже не пытавшийся этого скрывать». Георгий Адамович пожимает плечами: «Вспомним, что и Кузмин обозвал Пушкина «добрым малым». Но это одна из тех вещей, которые не следовало бы говорить громко «в приличном обществе».

В 1968 году я был у К.И. Чуковского, мы в отчаянье говорили о наших танках в Чехословакии, а потом Чуковский, знавший, что я составляю антологию поэзии XX века, дал мне для переписки на машинке книгу «Форель разбивает лед» (1929) с автографом автора. Корней Иванович, влюбленный в эту книгу, попросил меня почитать Кузмина вслух.

«Кони бьются, храпят в испуге...» – восторженно читал я под отдаленный скрежет наших танков, в этот момент ползущих по портам Златой Праги, и у Чуковского были на пла-

зах слезы то ли от танков, то ли от стихов, которых не смогут раздвинуть никакие танковые гусеницы. Тогда-то Корней Иванович чистосердечно покаялся, что к дофоре-левскому Кузмину серьезно не относился.

Анна Ахматова отзывалась о Кузмине с брезгливой неприязнью: «Кузмин был человек очень дурной, недоброежелательный, злопаятный». Почему же тогда с такой настойчивостью она рекомендовала ахматоведом из разных стран предисловие Кузмина к ее «Вечеру»?

Когда Гумилев однажды назвал его поэзию «будуарной», Кузмин обиженно ответил надменными упреками Гумилеву в банальности его собственных стихов. Ахматова этакой дерзости Кузмину простить не смогла. Неверность Гумилеву она позволяла только себе. К тому же после публикации «Поэмы без героя» ее раздражали упоминания о заимствованной ею у Кузмина строфике, что вообще-то непредсудительно, но тем не менее неопровержимо. Это ее и бесило при всей ее величавости.

Фраза Ахматовой из разговора с Л.К. Чуковской «...в руках Кузмина всё превращалось в игрушки...» полностью разваливается как обвинение, ибо обвиняемый сам написал об этом с горечью, не позволяющей дополнительных упреков: «О, маленькие души! А мы, а мы, а мы! Летучие игрушки Непробужденной тьмы».

В статье о художнике Константине Сомове, с чьими эротическими картинами у фривольных, довольно остроумных стихов Кузмина немало общего, поэт неожиданно раскрывает трагическую подоплеку собственной «игрушечности»: «Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг – вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство – череп, скрытый под тряпками и цветами...» Только те, кто серьезно относится к смерти, серьезно относятся и к жизни.

Манерность была самой манерой кузминского письма. Но когда осторожным кончиком пера Кузмин начинал выводить слово «смерть», стиль преображался – с него спадали маскарадные одежды: «В окне под потолком желтеет липа И виден золотой отрезок неба. Так тихо, будто вы давно забыты, Иль выздоравливаете в больнице, Иль умерли, и всё давно в порядке».